

ПРОВОДНИК ОДИЛЛИЯ

Люди сделаны по-разному. Одни выточены из цельного куска, и сколько их ни строгай, как ни пытайся доковыряться до сердцевины, а везде один и тот же материал. Может, мягкое дерево, может, железо, а может, вага, но ничего другого, — одна сплошная цельность. Что снаружи, то и внутри, не ошибешься. А есть люди-матрешки.

Снимешь верхний слой, а под ним что-то совсем другое, иногда очень неожиданное, как твердый дуб с нежнейшим шелком. Лучше, конечно, цельность, там все понятно и несгибаемо, но интересней матрешки.

У Зои глаз наметанный. Она вроде бы билеты проверяет, а на самом деле сортирует пассажиров. Вот этот дядька в кожаной куртке и с небольшим пузцом сделан из ореха. И похож на орех: такой же светло-коричневый, плотный, круглоголовый, и глаза круглые, без век совсем, ни одной щелки в скорлупе. Ему что положено, то отдай, но чего не положено, в жизни не возьмет. Место у него нижнее, и он никогда не поменяется с женщиной на верхнее. Он себе купил нижнее, понятно? За сорок пять положенных дней. И на своем месте поедет, хоть целый вагон мамаш с малолетками будет.

А вот женщина-матрешка. Ничего особенного — полновата, джинсы, лаконичная стрижка, голос грубоват — курит, наверное, лицо строгое и усталое. Никто ее не провожает, хотя уже почти четыре ночи, наверняка такси на вокзал брала. И сумка у нее маленькая, по делам, видимо, едет. Закрытая такая женщина. Но вдруг улыбнулась, это почти в четыре-то ночи, какие улыбки в этот час, скорее бы до полки добраться, и стало понятно — матрешка. Такие любят спрашивать имя-отчество, благодарить за каждую малость, чай носят сами и открывают двери тамбура, когда протискиваешься мимо них с мешком мусора. А на первый взгляд сурова и отстранена.

Больше никто в ее вагон на этой станции не сел. Ну и хорошо. Время сейчас не для разъездов: поздняя осень, все деловые летают самолетами, неделовые сидят дома, чего им мотаться по осенней, залитой дождями, как слезами, стране. Зоя сама не любит ездить в эту пору.

Хотя пассажиров мало, но уж очень скучно смотреть в окно. Ничего за окном радостного нет. Серые промокшие избы, голые огороды с остатками поздней капусты, как будто головы лежат на черной земле, горки догнивающей картофельной ботвы, заваленные заборы, охраняющие покосившиеся сараи, набитые отжившей свой век рухлядью, давно никому не нужной, но тщательно оберегаемой — вдруг

понадобится, полуповаленные в разные стороны деревья (не ветер же так развалил хилые посадки, думает всегда Зоя, но кто тогда?), мусор вдоль рельсов, по которому можно определить меню пассажиров: быстрая лапша или картошка в пластиковых стаканчиках, плавленые сырки в картонных коробочках, ватное корейское печенье в негнувшейся фольге, чай в пакетиках, минералка в бутылках, пивные банки.

Начальство требует от проводниц увеличивать продажи мелкой фасовки, но куда там! Пассажиры тащат свое, редко кто купит пачку вафель или печенья, да Зоя и сама бы не купила втридорога, зачем? Теперь вот лотерею сказали продавать, заплатил сто рублей и стал миллионером, ага. Так на нее и пассажиры смотрят дескать, ага. Наигрались. Едем все сплошь миллионеры, кушаем быструю лапшу и бережем свой миллион...

До отхода еще пятнадцать минут, на перроне никого, Алла-соседка поднялась в тамбур, виднеется только край форменного пальто и торчит желтый тусклый флажок, почти невидимый в темноте. Зоя воровато оглядывается. Никто в ее сторону не смотрит, ни единой живой души. Вагон последний, даже до перрона не дотянул, безобразие, конечно, но сейчас ей это на руку. Точнее, на ногу.

Р-раз — и Зоя легким взмахом закидывает правую ногу на верхнюю ступеньку вагона. Нога почти параллельно телу, носочек тянется ввысь, чудесная растяжка, самой себе позавидовать можно. Будь на Зое форменная прямая юбка, ни о какой растяжке и речи бы не было. Но на Зое темно-синяя юбка в мелкую складку, когда стоишь, она почти прямая, зато двигаться можно как хочешь. Время от времени бригадир поезда с подозрением смотрит на Зоину юбку, но придраться трудно — все как положено, почти прямая, до середины колена, темно-синяя. А что на заказ сшитая, так это ее дело.

По правде сказать, бригадир отменил бы эти юбки к чертовой матери и пусть бы проводницы сами шили себе форменный низ, кому как подходит. Китель да, китель у всех должен быть одинаковым, но китель каждой идет, хоть толстой, хоть худой, а вот эти полуобрезанные юбки...

Вон Тоня из пятого, толста неимоверно, форменная рубашка на груди расплзается в разные стороны, показывая сквозь щели бледное пухлое тело и черный атласный лифчик, но китель накинет — и ничего, терпимо. Зато юбка туго натягивается на животе, задираясь сзади и обнажая голубоватые, в мелкую сеточку валяки ляжек. Приятно, что ли?

А вот на Аньке из десятого юбка висит, сколько там Анька колготок ни поддевай. Она вечно мерзнет, эта тощая Анька, бывает, что под юбку натянет тренировочные штаны, так и стоит пугалом на посадке, но бригадиру ее жалко, и если не ожидается какое-нибудь начальство и народу мало, то он Аньку не дергает, чего девке мерзнуть?

Тоне пытался делать замечания, насколько мог деликатно, мол, Антонина, мы должны держать себя в форме, во всех смыслах, но Тонька только ржет густым раскатистым смехом и делает вид, что не понимает. А может, и действительно не понимает. У меня, говорит, диета неправильная, на работе жрешь что попало, а домой приезжаешь со смены и тоже жрешь что попало, потому что все сразу надо сделать, а дома трое детей и мать-инвалидка, не до разносолов. И ржет опять, хотя плакать надо.

Зоя, конечно, другое дело. Куколка, а не женщина. То есть женщина-кукла. Кажется, особенно издалека, что ее можно поставить на ладошку и так держать, крошечную, пряменькую, с тоненькими хрупкими ручками, узкими щиколотками, гибкой спинкой, в ее плиссированной юбочке и ловком кительке с белоснежной рубашечкой, в мягких кожаных туфельках, которые тоже, шепчутся девки, сделаны на заказ. М-да, Зоя... Но ни разу не удалось не то что на ладошке подержать, а просто

ладно положить на ее гибкую спинку, как бы покровительно-дружественно, в поддержку этим слабым позвоночкам, спрятанным под слоями ткани, — спинка все время ускользает, а глаза у Зои становятся детски недоумевающими — чего это вы, дяденька, обижаете ребенка? И неуловимым движением, стремительным перебором кожаных мягких туфелек уходит-убегает-отодвигается. . .

Зоя любит вытянутой почти параллельно телу ножкой в мягкой кожаной туфельке, которая — правильно шепчутся — сшита на заказ последним сапожником в городе, умеющим шить обувь. По правде говоря, только ей он и шьет. Остальные не шьют, а ремонтируют, да и кто сегодня будет шить, когда магазины забиты, чем хочешь. Да и денег это стоит немерено. Зое пришлось копить почти год со своей проводницкой зарплаты, чтобы заказать старому Ашоту пару кожаных туфелек. Они у нее не простые, а с секретом. Секрет в жестком носке, что делает туфельки почти пуантами. Ходить в них нельзя, она и не ходит, для прозаических вещей — в магазин там, в аптеку — годятся обычные туфли. Ашотовы она надевает только в поездки и дома. Именно ради таких вот минут — улучшить момент, когда никого нет и р-раз — GRAND battement jeté, для непонятливых — бросок ноги на возможную высоту. Юбка в мелкую складочку разворачивается синим веером, и Зоя стоит, как бабочка с одним крылом. А теперь — RELEVE, подъем на полупальцы, ногу назад, руку вверх, локоть мягко округлить, запястье полусогнуто, пальчики тянутся, тянутся и кажутся в свете из тамбура совсем прозрачными, перламутровыми.

Спинку, Зоя, спинку держать! Так кричала Аза Ильинична, когда Зоя работала у станка, а иногда больно хлестала по спине тонким длинным стеклом. Аза Ильинична никогда не церемонилась с теми, кого считала талантливыми, и совсем остервенело работала с гениальными, по ее мнению учениками, а остальные были ей неинтересны, какая разница, как они держат спинку? Все равно их удел — кордебалет в захудалом театре оперы и балета, если они вообще не бросят эту безнадегу и не переключатся на какое-нибудь здоровое и полезное занятие.

Зою она считала если не гениальной, то близко к этому. Это Аза выцепила ее на вступительных экзаменах среди тощих и синих от холода в репетиционном зале крохотных девчонок, которых родители решили отправить в Плисецкие, это она ее мяла и гнула, а Зоя терпела и не плакала, потому что она уже видела «Умиряющего лебедя» и понимала, что стать лебедем можно только через боль и пот. Откуда знала? А вот знала, и все.

И потом она терпела от неистойвой Азы все — и вспышки ее настроения, и хлесткие удары, и вырванные буквально изо рта шоколадки, и, самое страшное холодное молчание, когда Аза приходила к выводу, что все, ничего из Зои не выйдет, и зря все труды, бездарней ученицы она еще не видела, хватит, хватит, хватит испытывать ее терпение, тратить ее драгоценное время — и больше я не скажу ни слова, не брошу взора, не обращу своего морщинистого королевского лица. . . Ах, простите, Аза Ильинична, не бросайте меня, не дайте Лебедю умереть от тоски, от сиротливой брошенности на холодном льду вашего молчания.

Зоя раз и навсегда отказалась от шоколада, ее тошнило от булочек, и она никогда не знала вкуса газировки, она боялась поправиться хоть на грамм, истязала себя на занятиях и репетициях, она стала хрупкой, летящей и воздушной, и мальчишки любили с ней репетировать, потому что любой был с Зоей сильным и хорошо сбалансированным, и Зоя буквально летала над ними, ощущая себя бабочкой, готовой вспорхнуть в одно мгновенье.

Она летала так год, два, пять. . . как вдруг выяснилось, что ее однокашницы все, как одна, подросли, а Зоя так и осталась эльфом, хрупкой бабочкой, которую почти ничего не удерживало на земле. И ведь не удерживало. Ничего Зое было не надобно, кроме полета. Она не обременяла мать просьбами ни о еде, ни об одежде,

вполне ей было достаточно дежурного школьного костюма и балетного трико, а зимой она бегала в светлом пуховичке, купленном бог знает когда, и шапка у нее была не песчовая, как у других будущих Плисецких, а серая вязаная, с помпоном на шерстяной косичке, только бельё постоянно обновлялось, потому что в раздетом, облегающем балетном телесном мире бельё было главным.

Аза им однажды, отдельно от мальчиков, рассказала про это все, как она умела, грубо и беспощадно. Девчонки сначала хихикали, краснели, а потом замолчали и мылись в полутеплом душе яростно, и приносили с собой смену белоснежного, мягкого и простого белья, потому что Аза сказала — никаких кружев, никакой синтетики, от вас не должно вонять, как от потных лошадей. И еще — обувь. У вас будут деформироваться пальцы, стопа, вы все будущие инвалиды, вам надо научиться выбирать обувь и на деньги плевать. И ведь действительно, плевать, потому что ничего Зое, кроме полета, не нужно, можно позволить себе дорогую обувь, хотя где ее возьмешь на ее детский размер?

Сначала Аза ставила ее в пример другим: Зоя молодец, Зоя питается правильно, не жрет что попало, стрелки весов у нее стоят, как бравый солдат на посту, потом стала приглядываться, а потом вызвала мать. О чем они разговаривали, Зоя не узнала, слышала только через слегка приоткрытую дверь красивое слово «эндокринолог», потом мама вышла заплаканная, за ней выскочила Аза и прокричала ей в спину: немедленно, слышите, немедленно! — и началась какая-то совсем другая жизнь.

Зою сначала отвели в городскую поликлинику, потом отправили в областную, потом вовсе дали направление в Москву, это уже Аза собрала свою армию поклонников и двинула ее на штурм столицы, не поверив здешним врачам, и уже там толстый доктор с сизыми усами объяснил маме — ничего страшного с Зоиным организмом не происходит, с гипофизом все нормально, с щитовидкой тоже, все гормоны на месте, ничего не больше и не меньше, просто в Зое живут гены какой-нибудь ее миниатюрной прапрабабки, которых ее мать счастливо избежала, а Зоя нет.

— Но в кого, доктор? — недоумевала мать, уже не вытаскивая мокрый платок из кармана вязаной кофты, ведь ничего опасного с Зоей не происходило, а что Лебедь умирал теперь уже насовсем, ее волновало мало, найдутся и другие занятия в жизни. — И мать моя, и бабушка, они обычные были, как все. Да и я, вы же видите...

Смотреть там, честно говоря, было не на что. Стандартная тетка его лет, расплывшаяся, но не безобразная, с химической завивкой на голове, с печатью безмужности на простом лице, всегда слегка испуганная.

Зоя потом удивлялась, как матери пришло в голову отправить ее в балетное училище. Балет в ее жизни — только Лебедь из телевизора, и того она смотрела только на праздничных торжественных концертах, раза два, а потом, включив концерт, уходила на кухню, потому что всякие там арии и отрывки из балета ее простой души не трогали и понимания жизни не добавляли.

То ли дело Валентина Толкунова, красавица с жемчужной косой, стоит на полустаночке и нежно-звонящим своим голоском рвет душу. Но, может быть, что-то шевелилось в ее душе, когда смотрела на свою крошечную, как листок на ветру, дочь, прилипшую к телевизионному Лебедю, что-то там ворочалось тоскливое и несостоявшееся, что однажды она набралась решимости и повела Зою в училище, в какую-то другую жизнь.

А может быть, это был ответ ее собственной жизни, которая не удалась, но вот дочери — Зоя, прима-балерина, летящая над прозой будней в белоснежной пачке — удастся. Что Зое придется тяжело пахать перед полетом, ломать себя и голодать натурально, матери как-то и в голову не пришло. И что в свое время не

пришли ежемесячные женские неприятности, она тоже как-то пропустила. Ну не пришли и не пришли, хлопот меньше. Да и сильно хрупкая Зоя, сильно маленькая для своего возраста, может, рано еще...

— Мы своих предков мало знаем, — сказал доктор, — на бабушках, редко прабабушках, все и заканчивается. А генетика — хитрая штука, она через много поколений такие фортели может выкинуть! Да вы не волнуйтесь, здорова ваша девочка. С месячными все наладится, как только войдет в обычный режим жизни. Вырастет в миниатюрную женщину, мужчины ее на руках носить будут, на ладошку ставить. Девочкам это ничего, не страшно, а вот мальчикам... Скажите спасибо, что не мальчик у вас родился.

— Спасибо, доктор, — и мать едва ли не поклонилась, сраженная мыслью, что действительно, хорошо, что не мальчик, вот было бы несчастье. А Зоя — всего лишь маленькая принцесса, вырастет — будет маленькой королевой, мужики таких любят.

Зою все-таки решили оставить, за маленький рост и повышенную хрупкость не отчисляют, отчисляют за большой, да и кто его знает, как поведет себя подростковый организм, гормоны — штука непредсказуемая. И Зоя по-прежнему порхала над головами бабочкой, нежным эльфом, но Аза стала совсем замороженной, только иногда так же остервенело орала на нее и больно хлестала стеклом. В выпускном классе она позвала Зою в пустой кабинет завуча и объяснила все простыми и грубыми словами.

— Я тебя, Зоя, люблю, ты из редких созданий, только для нашего дела и рожденных, потому и не хочу ничего скрывать, — заявила она, нервно ломая пальцы. — Ты почти гениальна, о таких ученицах мечтает каждый педагог, ты танцуешь не телом, душой, как ни банально это звучит, но ты никогда не будешь великой балериной. Тебе не повезло. Тебя, конечно, возьмут в кордебалет, но еще не факт, ты им сломаешь всю линию. Ты никогда не сможешь получить главную партию, потому что не может быть Жизель маленькой девочкой. И никто не может. Был бы у нас детский балет, ты могла бы танцевать, но у нас нет детского балета. Если останешься в балете, будешь танцевать в детских спектаклях на утренниках в доме культуры и получать гроши. Мне очень жаль, но лучше бы тебе сразу выбрать другую профессию. Время переучиться еще есть.

— Нет, — упрямо сказала Зоя, — я буду танцевать. В труппе. И почему Жизель обязательно должна быть как лошадь? Где вообще написано, какого она роста?

— Дура, — сказала Аза с уважением. — Нигде не написано. Но она — девушка с высокими страстями. А где ты видела девочек с высокими страстями? Это будет смешно и нелепо. Ты видела когда-нибудь конкурсы красоты среди девочек? Когда чокнутые мамы красят им ресницы и губы и одевают, как проституток? Мечта педофилов. Взрослые страсти должна изображать взрослая женщина. А ты вечный ребенок. Так природа распорядилась. Ты всегда будешь ребенком. Мужчины будут стремиться тебя защищать, но они никогда не будут принимать тебя всерьез. Если у тебя хватит ума, ты сумеешь этим воспользоваться. Некоторые умеют и счастливы. Но не в балете. Послушай меня, девочка, не губи свою жизнь. Ты не одна такая, в балете везет единицам. Мне, например, не повезло, — и лоб Азы прорезала морщина, — я никогда не была примой. Но я хороший педагог, и некоторые мои ученики знамениты. Главное — вовремя понять, куда повернуть свою жизнь, если главное направление перекрыто.

— Ничего не перекрыто, — ответила Зоя и пошла ломиться прямо по главному направлению. В труппу местного театра оперы и балета, не самого последнего в ранге подобных театров, ее взяли, судя по всему, благодаря тайным Азиным стараниям, потому что хоть Аза и была закоренелым циником, но уважала Зоину

упертость. А может, она просто хотела продемонстрировать Зое свою правоту, так сказать, наглядно и в назидание.

И, конечно, во всем Аза была права. Пару лет Зоя протанцевала в кордебалете, ставили ее на крайний фланг, ближе к заднику, чтобы перспектива гасила разницу в росте с другими балеринами, лишь несколько раз ей удалось пролететь по сцене в стремительных фуэте, сорвав аплодисменты, потому что когда Зоя летела, то это был действительно полет, а не набор отточенных движений, но Жизель и Одиллию танцевали другие. Про Жизель еще ладно, Зоя ее не больно-то любила, а может быть, помнила Азины слова про женские страсти, а вот Одиллию ей хотелось станцевать. Именно вот такую, черно-белую, коварную и любящую, всякую. Но не давали.

Платили ей гроши, как и предсказывала Аза, жить на них было решительно невозможно, а тут еще заболела мать и потребовались платные врачи, платные лекарства, платная операция, а на платную сиделку денег уже не было. Зоя немного позанимала у Азы, но та и сама жила негусто, но деньги давала, ни словом не напоминая Зое, что она ведь предупреждала.

Потом иссяк и этот источник — Аза вдруг резко умерла. На похороны пришло много народу, мелькнули несколько знакомых всей стране лиц, говорили прочувствованные слова, Аза лежала в гробу строгая и торжествующая, как победительница жизни, которая не дала ей стать примою, но неистовая Аза взамен вытолкнула в жизнь других прим, а теперь успокоила, наконец, свои нервные руки и положила рядом тонкий стек, которым она будет, возможно, дирижировать потусторонними танцами, небесными балетами, в которых можно летать, не касаясь земли... и больше у Зои, кроме матери и долгов, ничего не осталось.

Стало ясно, что надо резко поворачивать лодку жизни. А куда? Что Зоя могла, кроме как танцевать, танцевать, танцевать? Однажды она придумала — студия танца. Не бального, а классического. И детский Дом творчества недалеко, всего в двух кварталах, можно еще сэкономить на автобусе. Директор Дома творчества, пышная дама-блонд (и почему они все, эти дамы, такие одинаковые?), сказала, приветливо улыбаясь красным ртом, когда Зоя открыла дверь в ее кабинет: — Заходи, девочка, ты по какому вопросу?

И Зоя поняла, что не учить ей детей классическому танцу. Они, конечно, поговорили с директоршей, и та, кося веселым лиловым глазом в сторону, объясняла, что студия — дело затратное: нужны зеркала, станки, просторное помещение, а у них все плотно, все по минутам расписано. Брейк, мастерские ручного творчества, литературное кафе — заходите, кстати, очень интересные люди собираются, вот курсы садовых дизайнеров организовали, очень народ интересуется. Да и кто будет танцевать классику? Это ж какой труд, а выступать где? У них даже сцены своей нет, арендуют у театра кукол. Нет, пока не можем, хотя идея хорошая. До свиданья, вы все-таки приходите к нам, нам творческие люди нужны, вдруг что-нибудь придумаем?

В школу Зою тоже не взяли. То есть почти взяли, но предложили на полставки учить гимназистов старинным танцам. Был в гимназии такой предмет — культура танца. Факультативно.

— Наши ученики, — гордо сказала директриса школы, пышная дама-брюнетка в глухом костюме, — на выпускном танцуют настоящий вальс и мазурку. Очень красиво, прямо до слез. К нам сам губернатор приходит на выпуск. Но я могу предложить вам только полставки. Зато у вас будет много свободного времени.

На что Зое свободное время? Времени у нее в избытке, а деньги уже все кончились, а две упаковки памперсов для мамы стоят восемьсот рублей. Мама стесняется ими пользоваться, и тогда вечерами Зоя кричит на нее страшным шепотом, чтобы соседи не услышали и мама не испугалась: — Мама, лучше памперсы, чем мокрая простыня!

На предложенные полставки Зоя может купить только три упаковки памперсов. Еще была библиотека (девушка, у нас необходимо иметь специальное оборудование!), клуб на окраине города (у нас основная деятельность по вечерам. А у меня вечером — мама) и пара совсем невразумительных мест типа центра эстетического развития в крохотной «двушке» на первом этаже многоэтажного облезлого дома. Аза злорадно наблюдала сверху, как сбываются ее предсказания. И однажды пожалела. Зоя увидела объявление бегущей строкой по местному телевидению: требуются проводницы на поезда дальнего следования. Работа посменная, достойная зарплата, полный соцпакет, официальное оформление, бесплатные поездки в любую точку страны. Образование необязательно, надо только пройти курсы проводников.

Почти не соврала. Зарплата была не совсем достойная, но жить на нее было можно. И даже платить приходящей сиделке, когда Зоя отправлялась в рейс. А в рейсы Зоя отправлялась часто, потому что чем больше часов накатаешь, особенно ночных и праздничных, тем больше получишь. Вот Зоя и каталась.

Сиделка попалась хорошая, у нее были свои заморочки и нужны были деньги. Дочка у сиделки работала в банке, набрала на материно имя кредитов, а когда все это открылось, ее из банка выкинули. Но деньги банк потребовал с заемщика, и теперь Анна Ивановна металась на нескольких работах, чтобы платить долг. Зоина мама стала ее удачной картой: днем мама кое-как обслуживала себя сама, и Анна Ивановна успевала сбежать помыть пол в соседнем доме, вечером пару часов убирала небольшой магазинчик, а уж ночь посвящала Зоиной маме. Если не поленишься и разбудить маму вовремя, можно даже сэкономить памперс и избавиться себя от утренней стирки.

Анна Ивановна не ленилась, тем более что страдала хронической бессонницей. В свободное дневное время она готовила наваристые супчики из оставленных Зоей продуктов и откушивала вместе с мамой: маме — ложку, Анне Ивановне — две, все сыты и довольны. Мама даже стала немного разговаривать с Анной Ивановной, в основном сочувствуя перипетиям ее жизни. Голова ее мелко тряслась и кивала, и Анна Ивановне казалось, что мама ей полностью и глубоко сопереживает. Потом приезжала Зоя, Анна Ивановна получала короткий отпуск и заслуженную оплату своего труда, которую она незамедлительно относила в банк.

Мама умерла, когда Зоя ехала из Воркуты. Ехать оставалось ночь, бригадир сказал, что никакого смысла Зое срываться с рейса нет, все равно на самолет она не успевает, нет в их город ночных рейсов, и вся эта суета с самолетом займет больше времени, так что проще спокойно доехать, а вообще он Зое сильно сочувствует и, чем может, поможет.

И действительно помог. С ним Зоя сразу из рейса отправилась в морг, чтобы увидеть мамино восковое лицо, наконец разгладившееся и спокойное. С ним ездила на кладбище, выбирала гроб и заказывала поминальный обед на шесть персон. Откуда больше? Она, Анна Ивановна, ближайшая соседка по лестничной клетке, с которой мама еще до болезни иногда перекидывалась словом, бригадир и постоянная сменщица Лариса, с которой Зоя не то чтобы дружила, но состояла в хороших отношениях.

Была бы жива Аза, позвала бы и Азу, но та уже давно пребывала там, куда Зоина мама только направилась. Если они там с Азой встретятся, то разве чтобы поговорить о Зойке, потому что больше их ничего не связывало. Бригадир иногда пытался сочувственно положить руку на хрупкую Зоину спинку, но Зоя каждый раз поднимала на него вопросительные глаза — и он отчего-то конфузился и убирал руку. Между делом выяснилось, что бригадир давно одинок, жена с ним разошлась и забрала единственного сына. Зоя, конечно, посочувствовала, но ее собственное

горе было свежее и острее, и полностью бригадировыми проблемами она не прониклась. А мужик оказался хорошим, да.

Потом в доме наступила тишина и свобода. Зоя больше не надо было вскакивать с утра, чтобы проверить маму, варить легкие супчики, кормить маму с ложки, мелкими шажками, в обнимку, передвигаться с ней к туалету, протирать влажными салфетками ее рыхлое, уже со следами тления тело и два раза в неделю вместе с Анной Ивановной поддерживать это тело в ванной, невесомой мочалкой снимая с него тяжелую патину болезни.

Зоя собрала в большую полиэтиленовую сумку все мамины лекарства и отнесла их к мусорному контейнеру. Выбрасывать не стала — маме выписывали редкие и дорогие лекарства, вдруг кому понадобится? Одежду забрала Анна Ивановна, с ней же Зоя договорилась, чтобы она присматривала за квартирой, когда Зоя будет в рейсах. Анна Ивановна тихо обрадовалась — в квартире можно было пожить, с дочкой жить стало совершенно невозможно, мало того, что она тащила материнскую копейку, так еще и хахалей водить стала. Зоя не возражала — с Анной Ивановной в доме сохранился живой дух и летал запах легких супчиков.

Через пару дальних рейсов Зоя заказала зеркало во всю стену в зале, как когда-то называла мама большую комнату. В агентстве «Муж на час» ей выделили мужика, который прикрутил зеркало и сделал балетный станок. Анна Ивановна подивилась новшеству, но смолчала. При ней Зоя никогда не становилась к станку и не танцевала. Да где танцевать-то? Диван, пара кресел, зеркало во всю стену. Негде. А без нее сдвигала кресла, даром, что легкие, и на узком свободном пространстве пыталась летать, как когда-то на большой сцене. Полетам мешали стены и мебель, но можно же приноровиться к любым обстоятельствам. К тому же Зоя маленькая, как птичка, ей много неба не надо.

В вагоне тихо, никто не шастает по коридору, а уборку Зоя сделала еще после предыдущей станции. Сейчас скучно ездить, но хорошо работать, народу мало, туалеты почти чистые, начальство реже заглядывает. Зоя раскладывает по кармашкам проездные документы новых пассажиров — вот и вся пока ее работа.

Можно вздремнуть, но спать не хочется, да и через час все равно вставать, выходить из вагона и ждать, не появятся ли новые пассажиры. Чай пить тоже не хочется. Вообще, чай Зое надоел. Проводницы гоняют чай без меры, потому что больше гонять нечего. Покупать соки опасно, молочко тоже берут только на «своих» станциях у проверенных людей, которые просрочку не подсунут. Что остается? Только чай.

Вечером ужинали у Тони в вагоне. Тоня мастерица в самых суровых условиях готовить домашнюю еду. Вот и нынче расстаралась — купила полведра грибов на станции у знакомой бабки, почистила прихваченную из дома картошку и такое блюдо сочинила, что даже Зоя умяла полную тарелку. Но с того времени прошло уже пять часов и можно было бы перекусить, но ничего не хочется. Сладкого Зоя не ест по-прежнему, на мучное ее организм реагирует, как на злейшего врага — вот она, Азина жесткая дрессура, — а от яблок, которым сезон пошел, у нее уже скулы сводит.

Зоя выглядывает в коридор. На другой конец вагона убегает красная с полосой дорожка, почти все двери закрыты, тускло светят потолочные плафоны. Можно. Зоя идет на середину вагона, встает лицом к окну, за которым темно, ставит ногу в первую позицию. И-раз! Ножка в кожаной туфельке взлетает вверх, юбка расходится веером. Зоя поворачивается боком, берется за поручень, очень удобно, кстати, как раз по ее росту. Нога вверх, левая рука над головой, голова откинута, плечи расправлены. Аза была бы довольна.

За окном мчится непроницаемая темнота, спит на своем месте цельный пассажир-орешек, сегодня ему не пришлось отстаивать свое право спать согласно купленному билету, спит женщина-матрешка, и лицо у нее во сне расслабленное, совсем нестрогое, спит толстая Тонька, а чего ей и не поспать с часок, спит бригадир — должен же человек отдохнуть хоть несколько минут, а в Зоинном вагоне под неслышную музыку Зоя танцует Одиллию. Никогда она не мечтала танцевать Одетту. Одетта правильная, Одетта белая, а белый цвет — это отсутствие цвета. Вот Зоя — она же проводница, она же Одиллия, она же девочка-эльф, но попробуй положить ей руку на хрупкую спинку! Зоя неслышно порхает по коридору вагона вагон мчится через ночь, а сверху смотрит на это одобрительно Аза, и тонкий стек подрагивает в ее нервной руке.

НЕБЕСНЫЙ САДОВНИК

— Ну все, пора, просыпайся, — сказал незнакомый голос.

Мишин открыл глаза. Он лежал на узкой кушетке, а стены вокруг были приятного салатного цвета. Последний раз он помнил себя в больничной палате, стены там были белые, кровать со спинками, а матрас больше размером, чем сетка, и поэтому страшно скрипел и свисал почти до полу. А сейчас был только один салатный цвет.

— Ты пока не напрягайся, — сказал голос, — постепенно все поймешь. Можешь встать, не бойся.

Мишин осторожно приподнялся.

— Я же тебе говорю — не бойся, вставай. У тебя ничего не болит.

Мишин сел на кушетке. Действительно, не болело.

— Я в реанимации, что ли? — спросил он неизвестно кого, потому что никого в комнате и не было. — Мне сделали операцию?

— Сделали, — вздохнул голос.

— А на выписку когда, — поинтересовался Мишин. — Я есть хочу. Переведите меня в палату, жена придет, принесет что-нибудь.

Он не помнил, когда ел в последний раз. Кажется, перед тем, как его отправили на МРТ. А за неделю до того Мишину каждый день становилось все хуже, при запахе еды его начинало тошнить, и он утром отдавал жене все, что она приносила вчерашним днем. Зато он много пил — морс, травяной чай, воду, и от этого его тоже тошнило. Мишин уже почти не мог разговаривать, потому что у него страшно сохло во рту, и он все пытался залить водой эту пустыню, но ничего не получалось. А перед МРТ жена сказала:

— Мишин, ты обязан съесть этот бульон. Им нужно много воды в тебе. Ты должен сцепить зубы, Мишин, и пройти это проклятое МРТ. Они не понимают, что с тобой, им нужно это обследование. Ешь бульон, Мишин.

Мишин ел. Семисотграммовую банку, он всю ее съел. Потом Мишин с женой, мелко шаркая опухшими ногами, шел в соседнее здание, где было это самое МРТ. Администратор, увидев Мишина, ахнула. На ее лице было написано, что если бы она знала, в каком состоянии пребывает Мишин, она бы ни за что не согласилась принять его без очереди и направления врача. Но Мишин с женой уже были здесь, и выгнать их у нее не хватило духу. Мишин помнил, как метался на кушетке в маленьком фойе, ожидая, когда его пригласят, с каким ужасом в глазах смотрел на него рыжий мужик, пришедший просто «проверить все» и хохмивший, пока администратор заполняла анкету, а теперь при молкший и сникший, как жена

беспомощно гладила его по спине, как он потом ждал ее на крыльце, цепляясь за перила, потому что ни стоять, ни сидеть уже не мог.

— Вот, — торжествующе сказала жена, показав ему какие-то бумаги, — у тебя внутри все нормально для твоего возраста. И от рака ты не умрешь.

— А не все ли равно, от чего умирать? — спросил Мишин. У него внутри разливалась какая-то тупая тоска и даже ничего не болело. Просто — тоска.

— Дурак, — сказала жена, — это значит, что тебя вылечат, ничего фатального у тебя нет. Пойдем, ты сейчас ляжешь, отдохнешь.

И они мелкими шажками двинулись в обратный путь. И больше Мишин уже ничего не помнил.

— Успешно сделали? — спросил он в пространство.

— Ну, в общем, да, — замялся голос. — В целом успешно. С хирургической точки зрения все хорошо.

Ответ прозвучал как-то странно. Поэтому Мишин решил уточнить:

— А с какой точки зрения плохо?

— Это сложный вопрос, — ответил голос. — Но ты пока об этом не думай, просто вставай, и всё. Теперь уже можно.

Мишин опустил ноги с кушетки. Ноги были босыми, а на нем была надета какая-то ночная рубашка. Кажется, даже с завязочками сзади.

— А во что мне переодеться? — спросил Мишин в пространство. — Не буду же я ходить в ночной рубашке, мужик все-таки.

— Это несущественно, — сказал голос, и Мишину показалось, что он хихикнул. — А во что бы ты хотел?

— Ну, шорты, там, или брюки, майка. И тапки хотя бы. А то как я на улицу выйду?

— Ладно, — произнес голос, — вон слева все лежит, переодевайся.

Мишин повернул голову и увидел, что слева на кушетке действительно лежит аккуратно сложенная стопка одежды. Она была не новая, но чистая и отглаженная.

— А моя где? — возмутился Мишин. — Жена мне новые шорты покупала, шлепанцы...

— На дезинфекции, — сказал голос. — Но это тоже несущественно. Давай уже переодевайся.

Мишин стащил с себя ночную рубашку. Действительно, сзади были завязочки. Такие рубашки Мишин видел на пациентах в «Докторе Хаусе». «Ну вот, и до нас дошло», — подумал он. Раньше, в далекой молодости Мишина, в больницах выдавали цветастые байковые пижамы и кожаные шлепанцы, а теперь вот бабские рубашки. Никаких шрамов и рубцов на его теле не было. И тело было каким-то другим. Сначала Мишин не понял, в чем дело. А потом до него дошло — исчез небольшой животик, который он наел за последние годы, кожа туго натянулась, а седых волос на груди не было. Сбрили, что ли?

— Это ж сколько я пролежал, что успел так похудеть? — испугался Мишин. С одной стороны, ему понравилось, что он увидел, а с другой, что-то царапнуло — не может человек после операции и реанимации выйти молодым и красивым. И вообще что-то было не так. Голос этот... Мишин видел в кино, как врачи сидят за пределами палаты и разговаривают в микрофон с пациентом. Но там пациент весь обставлен-обложен датчиками, а здесь ничего не было. И никаких окошек, видеокамер Мишин тоже не обнаружил. И, собственно, он совершенно здоров и его даже собираются выписывать, зачем тогда эти невидимые голоса? Такое чувство, что он у тебя в голове. Может быть, так оно и есть? И он вместо хирургии лежит в психиатрической клинике и беседует сам с собой?

— Все не так, — сказал голос, — я все объясню, но сначала ты должен немножко... привыкнуть, что ли.

— К чему? — строго спросил Мишин. Он уже оделся и теперь стоял возле кушетки, не понимая, куда ему двигаться. Дверей в комнате тоже не было.

— Давай все-таки выйдем, — сказал голос.

— Слово «выйдем» здесь ошибочное, — так же строго сказал Мишин. — Я здесь один и никого не вижу. С кем выходить, спрашивается? И через что?

— Ну ладно, — вздохнул голос. —хлопот мне тут с вами. Тебе что, легче станет, если ты меня увидишь?

— Я не могу разговаривать неизвестно с кем.

— Так ты все равно будешь разговаривать неизвестно с кем, — возразил голос. — Ты же меня не знаешь. Так какая разница, как я выгляжу.

— Мы познакомимся, и будет известно с кем, — возразил Мишин. — А то я как будто в дурке лежу. Или я там действительно лежу?

— Нет, не лежишь ты в дурке. Кстати, чего вы все так ее боитесь? Там тоже много по-своему счастливых людей. Быть Наполеоном вместо рядового слесаря — плохо ли? Но раз ты хочешь, давай знакомиться.

Непостижимым образом стена утончилась, как-то заколебалась — и сквозь нее протиснулся человек. Он был худым, смуглым, и на нем была надета ночная рубашка с завязочками. «Форма тут у них у всех такая, что ли», — подумал Мишин. И технологии... без окон, без дверей, а ходить можно. Нет, все-таки кое-что у нас умеют.

— Ой, прошу прощения, я переоденусь, — смущенно сказал человек. — Мнечто, конечно, все равно, а для тебя это важно.

Он снова втиснулся в стену и появился через мгновение, уже в нормальных светлых брюках и майке с принтом. На принте было написано: «Все так!».

— Иван Иванович, — сказал человек и протянул руку Мишину.

— Мишин, Виктор Николаевич, — представился Мишин. Рука у человека была сухой и теплой, рукопожатие крепкое, но в меру. — Ну у вас тут и технологии! Меня, случайно, не в Москву увезли? Наверное, в какую-нибудь крутую клинику? Санавиацией?

— Что-то в этом роде, — сказал Иван Иванович. — Пошли, что ли.

Они двинулись к стене, и Мишин на мгновение испугался, что врежется сейчас в нее лбом. Но стена прошелестела вокруг него и выпустила в большой коридор. Коридор тоже был странным: без светильников и окон, но вокруг сиял мягкий свет и сквозь стены был виден окружающий пейзаж. Как будто через пленку, тонкую и слегка искажающую пропорции.

Пейзаж был красивым: большой зеленый газон, розарий позади, а еще дальше невысокие горы с какими-то японскими очертаниями. Мишину приходилось бывать в Японии, и он знал, что тамошние горы не спутаешь ни с какими другими. Ни с алтайскими, ни с кавказскими.

Снаружи сновали люди, то есть тени людей, потому что Мишин видел только силуэты и ничего конкретного. По коридору тоже ходили люди, вполне конкретные, но очень странно одетые. Кто в ночных рубашках, кто в строгих костюмах, прошла даже одна дама в длинном блестящем платье и с мундштуком в тонких пальцах. И вроде бы они разговаривали, но было очень тихо, как будто все звуки заглушались плотным слоем ваты. И никто не смеялся, даже улыбок Мишин не видел. Хотя — больница, тут не до смеха. Но почему они тут свободно разгуливают? Без бахил, без халатов. И врачей не видно, и медсестры не бегают.

— Ты все еще хочешь есть? — спросил Иван Иванович.

Мишин прислушался к себе. Есть уже не хотелось. Но он знал, что после операции надо есть много здоровой еды, чтобы восстановить силы. Хотя силы у него были.

— Я бы не отказался, — деликатно сказал Мишин.

— Пошли. Ты какую кухню предпочитаешь? Русскую, японскую, мексиканскую?

— Вообще-то я все ем, — сообщил Мишин. — Кроме зеленого горошка. Но у вас тут круто, кухни всякие. А мне в последние перед операцией дни капусту предлагали. Вареную. Что значит — столица.

— У нас тут хороший кафетерий, — сказал Иван Иванович, — можешь заказать все, что хочешь.

— А цены?

— За счет заведения, — усмехнулся Иван Иванович. — Даже спиртное подают. Но некрепкое.

Кафетерий был действительно хорошим: барная стойка с рядом разноцветных бутылок на полке, деревянные столы и стулья, настоящие фарфоровые тарелки, запах свежесваренного кофе. Только людей здесь почти не было.

— А что здесь так пусто? — поинтересовался Мишин.

— А это у нас так, для первого этапа, — загадочно сказал Иван Иванович, — ну, для адаптации. Чтобы не вырывать резко человека из привычной среды. Когда человек делает что-то привычное, он легче привыкает к смене обстановки. А потом уже не надо. Потому и пусто.

У углу сидели двое — мужчина средних лет и молодая девушка. Мужчина, видимо, был чем-то расстроен, а девушка что-то тихо ему говорила и поглаживала руку. «Отец с дочерью», — догадался Мишин.

— Не совсем, — неожиданно сказал Иван Иванович.

— Что? — не понял Мишин.

— Ничего-ничего, — замахал руками Иван Иванович, — это я так, сам себе говорю. Заказывай, не стесняйся. Вот буквально — что хочешь.

И Мишин захотел солянку, икру, свежее испеченную булочку и бокал шампанского, которое он раньше не пил, а сейчас почему-то захотелось. Иван Иванович взял кофе, а к нему крошечную безешку.

Мужчина с девушкой встали и вышли из кафетерия, мужчина уже откровенно плакал, а девушка все продолжала его утешать. Вот, у кого-то горе, подумал Мишин, а у меня все обошлось, меня выписывают и скоро придет жена, и они отправятся домой, и заживут так, как жили до его болезни. Мирно, тихо, без скандалов, как полагается жить зрелым людям.

Неожиданно Мишин почувствовал близкие слезы и понял, как соскучился по жене. Жена его была человеком ироничным, быстрым на слова и дела, она была журналистом, много понимала и часто объясняла Мишину закулисную сторону событий, потому что Мишин воспринимал жизнь прямо, такой, какой она ему себя показывала.

Еще он был домосед, не любил ездить, но жену спокойно отпускал, и ему вполне хорошо было с дочерью. Дочь выросла и уехала в другой город, наезжала раз в году, и все они радовались встрече, а потом все возвращалось на круги своя: дочь уезжала к своей жизни, а Мишин с женой выращивали сад. Несколько лет назад они тоже переехали в теплый солнечный город, где даже зимой была зеленая трава, жена работала удаленно, как теперь модно, писала иногда статьи в федеральную прессу, но главным их делом стал сад. Жена вдруг страстно увлеклась цветами, а Мишин занимался фруктовыми деревьями, которым было уже почти пять лет, но они до сих пор еще толком не плодоносили.

— Садовнику надо жить долго, — весело говорила жена, — мы будем жить долго и соберем свой урожай. Посмотри, какой в этом году будет виноград.

Виноград действительно обещал быть знатным. И это был его, Мишина, виноград. Он был, в общем-то, равнодушен к фруктовым деревьям, просто ему было

любопытно смотреть, как они растут, как вьются и тихо гудят вокруг них пчелы. Ну и как на юге без фруктовых деревьев, пусть растут, раз взялись. А вот виноград был делом мужественным и мужским. Мишину нравилось наблюдать, как тощий прутик, посаженный «под лом», как советовали опытные соседи, превращается в коричневую, морщинистую и извитую лозу, как бросает она во все стороны длинные ответвления, которые Мишин привязывал на туго натянутую проволоку, и к концу лета образовывался виноградный листовяной шатер, а из крошечных зеленых и твердых ягодок формировалась увесистая зеленая или сизо-черная гроздь, обманчиво легкая на вид, но ящик потом становился неподъемным. Еще он знал, что виноград пускает корень глубоко в землю в поисках воды и потому может расти на каменистых, безводных склонах под палящим солнцем, и уважал его за это качество, как уважают мужественного человека, умеющего преодолеть любое препятствие. Мишин даже начал делать вино, но был еще в начале пути и надеялся, что в этом году они соберут достаточно винограда, чтобы поставить пузатый бочонок, который уже был куплен и ждал в подвале своего часа.

Судя по пейзажу за окном, еще стояло лето, и Мишин должен успеть собрать урожай. Но почему нет жены? Она часами сидела у него в больнице, а теперь, когда Мишина выписывают, ее нет?

— А почему нет жены? — спросил Мишин Иван Ивановича. — Ее что, сюда не пускают?

— Пока нет, — грустно улыбнулся Иван Иванович. — Ей сюда еще рано.

— Не успела приехать? — догадался Мишин. — Так я что, действительно в Москве?

— Ну что вы все Москва-Москва, как будто это единственное место для хороших людей. Что хорошего в вашей Москве? Шумно, людно, метро забито, на улице дышать нечем!

Мишин удивился такой бурной реакции меланхолического Ивана Ивановича.

— Так меня ж туда, наверное, не гулять привезли, а на операцию? Кстати, вы случайно не мой лечащий врач? Мы вам ничего не должны? Или жена уже все оплатила? У нас были деньги, мы люди не самые богатые, но и не нищие. На здоровье специально откладывали.

— Оплатила, — Иван Иванович отвел глаза в сторону. — Она все оплатила.

— А какая хоть у меня была операция? Что нашли-то?

— Это не важно. Что нашли, то и убрали. Я же сказал, с точки зрения хирургии у вас все хорошо.

Иван Иванович неожиданно перешел на «вы» и как-то неуловимо изменился. Погрустнел, что ли? Это неприятно царапнуло Мишину. Разговор оборачивался какой-то странной, тревожащей стороной.

— Но, знаете, человеческий организм сложнее, чем все думают. Вот, например, ваш случай. На поверхности была одна болезнь, а за ней скрывалась совсем другая. Поверьте, делали все, что могли. Мы, честно говоря, вас в виду не имели...

— Что значит «не имели»? — холодея, спросил Мишин. Какая-то смутная догадка начинала всплывать из глубины сознания.

— Да вот так, мы тоже иногда ошибаемся. Мы думали — попозже. Но не учли человеческий фактор. Очень сложная система, знаете... — Иван Иванович извинительно улыбнулся.

— Так, погодите, — замирая, сказал Мишин, — меня, что ли, не вылечили?

— Увы, — развел руками Иван Иванович.

— И я по-прежнему болен? Безнадежно?

— Как бы сказать...

— Или я что, умер? — голос Мишина упал до шепота.

— Это вы так говорите. А для нас вы живее всех живых. Вот, посмотрите на себя. Вы же себя осознаете?

— Ну, осознаю.

— А сознание есть признак одушевленной жизни. Это я по-простому вам так объясняю, чтобы вы не пугались. Просто вы теперь в другом качестве и в другой форме. Впрочем, форму вы можете выбирать любую. Пока... Потом обычно от формы отказываются. А если хотите, можете оставить и форму.

У Мишина шумело в голове от шампанского и слов Иван Ивановича. Он представил себя в гробу, накрытого белым покрывалом, с желтым изможденным лицом... да ну, какая глупость. Вот же он, сидит, только что откушав икры и выпив шампанского, и беседует как ни в чем не бывало с Иван Ивановичем... Какая смерть? Смерть — это что-то холодное и страшное, Мишин хоронил и мать, и отца, и хорошо помнил это ощущение ледяного тяжелого холода, когда прикасаешься к мертвому лицу. Но он же сейчас живой и теплый. На всякий случай Мишин потрогал себя за руку — действительно, теплый.

— Вы не ошибаетесь. Смерть на самом деле совсем не то, что вам кажется. Это просто переход из одного состояния в другое, — успокоительно сказал Иван Иванович. — Примерно как если бы вы уехали. Вот вы только что были дома, разговаривали с близкими, а теперь вас дома нет. Но вы же есть. Только в другом месте.

— На том свете? — опять догадался Мишин. — Но вы учтите, я не верующий.

— О господи, — сказал Иван Иванович, — простите, но вы меня утомляете.

— Кто это вы? — рассердился Мишин. — Вы, значит, сделали ошибку, чего-то там не рассчитали, а теперь, видите ли, мы вас утомляем.

— Не только вы конкретно, но и вы тоже. Да, мы, бывает, ошибаемся. В вашем случае мы не рассчитывали, что ваш врач прос... проспит сепсис на пустом месте. Уж это-то он должен был увидеть. Но не увидел. Я же вам говорил, что с хирургической точки зрения все прошло хорошо. Но уже был сепсис, и организм не смог бороться сразу против двух угроз. Но это не имеет отношения к тому, верите вы или не верите. Жизнь, она штука такая... нескончаемая. Или у вас есть другие данные?

— Нет, — честно признался Мишин, — но у меня нет и противоположных данных. Еще никто не доказал, что бывает вечная жизнь.

— А как же, — удивился Иван Иванович, — мы вот сидим с вами, беседуем? Вы шампанское пьете, я кофе. Разве это не факт? Если вы все еще думаете, что это галлюцинация, значит, вы уверены, что живы в том, земном воплощении. Если вы приняли случившееся как факт, то, стало быть, вы опять же живы, только уже в другом качестве и в другом месте.

— Вы меня совсем запутали, — признался Мишин. — А почему бы вам — кстати, а кто вы тогда? — не дать понять это людям? А то все какие-то недоговоренности, какие-то загадки, иносказания... Мне, честно говоря, всегда казалось это бредом. Может быть, я зря это говорю сейчас... в свете произошедшего... но если бы мы понимали, нам было бы значительно легче принимать смерть.

— Насчет того, кто я. Я ваш сопровождающий, — сказал Иван Иванович. — Человеку трудно сразу принять произошедшее, ему нужна адаптация. Ему комфортней существовать в прежней форме, пока он не поймет своих новых возможностей. Мы помогаем вам их понять. Потом, как правило, все справляются самостоятельно. А говорить нельзя. Ощущение вечности порождает ощущение бесцельности. Вот вы, скажите, какие цели перед собой ставили?

— Ну, — замялся Мишин и задумался. Действительно, а какие цели он ставил? Вырастить дочь, получить квартиру, купить машину. Работать, само собой. Работать у Мишина всегда получалось, он даже сделал небольшую карьеру, но никогда не замахивался на начальственное кресло. Потом им с женой захотелось купить дом,

и Мишин загорелся выращиванием винограда. И хотя Мишин считал, что жизнь его удалась, сейчас все это выглядело как-то мелкотравчато.

— А вы не стесняйтесь, — считал его мысли Иван Иванович, — так живут миллиарды людей. И жили. Не самые плохие цели — дети, дом, сад. И вот, если бы вы знали, что у вас в запасе вечность, поторопились бы вы выполнять эти цели?

Мишин задумался. Действительно, а куда было бы спешить? Но он ведь и сейчас мало что успел.

— Не так уж и мало, — вновь отозвался на его мысли Иван Иванович. — Многие так и не успевают посадить свое дерево. А некоторые рубят чужое.

— Можно спросить? Этих, которые рубят, их куда? В ад?

— Господи, — поморщился Иван Иванович, — ну помилуйте, взрослый человек, а все туда же. Каждый сам себе формирует среду и способ обитания. Хочется вам пребывать во мраке — вы и будете в нем пребывать. Хочется вам болтаться в ничегонеделании — ну болтайте в нем вечность. Уверю вас, это жутко тоскливо. Примерно, как смотреть «Санту-Барбару» целую вечность. Или слушать Стаса Михайлова. Рано или поздно полезешь на стенку. А никуда не денешься, ты сам этого хотел.

— И ничего не исправить? — испугался за неведомых сериальщиков Мишин.

— Почему же... Можно еще раз попробовать. Только никто вам не расскажет про невыученный урок, придется все снова и самостоятельно.

Мишин вспомнил, что он тоже любил посматривать детективные сериалы... но не так часто, как хотелось бы. Сад требовал целодневной заботы, и только зимой Мишин мог завалиться на диван и вечер глазеть в телевизор. Нет, кажется, ему это не грозит.

В кафетерий зашли три человека — женщина и мальчик лет семи в сопровождении аккуратно завитой пожилой дамы. Дама держала мальчика за руку, а тот с интересом разглядывал обстановку.

— Авария, — тихо пояснил Иван Иванович. — Мама и сын. Отец был за рулем, живой. Им предложили в сопровождающие бабушку, чтобы мальчик не пугался.

— Господи, а ребенка-то за что? — прошептал Мишин.

— Ни за что, — грустно ответил Иван Иванович. — У отца позавчера был корпоратив, вернулся поздно, был сильно выпивший. А утром повез жену и ребенка в бассейн. Сколько раз говорено — не садись за руль с похмелья. Ну, сел. Вот результат.

— А вы что, не могли предотвратить? — осторожно поинтересовался Мишин.

— А вот представьте, что вы не просто вырастили вашу дочь, а продолжаете руководить всей ее жизнью. Не ходи туда — там темно и могут напасть, не общайся с этим, он плохой человек, не ездь в отпуск, самолет может упасть, не ешь сладкого, кариес будет, растолстеешь. И так всю вашу и ее жизнь. Ну и?..

— Не представляю, — честно сказал Мишин.

Дочь его была изначально самостоятельной и руководить своей жизнью никогда бы не позволила. Мишин сначала переживал, а потом привык, что дочь хоть и его дочь, но совершенно отдельный человек. Они любили друг друга, и этого им хватало. Он вспомнил дочь, жену... и слезы вновь подступили к глазам. Он вдруг понял, что жена его осталась одна и что ей сейчас, наверное, невыносимо одиноко, и она, сильная, в общем, женщина, плачет ночами в подушку. Ему захотелось хотя бы краем глаза взглянуть на жену, на сад, на дочь, на все, что он оставил не по своей воле и без чего ему стало так тоскливо сейчас. Мишин впервые понял слово «тоска». Это было ощущение пустоты и понимание, что пустота ничем не может заполниться.

— Можно мне увидеть жену и дочь? — спросил он Иван Ивановича. Тот внимательно посмотрел на него.

— Обычно мы стараемся этого не делать. Есть некоторые сложности на границе того и этого мира. Люди принимают эти сложности за всякие мистические ужасы, а потом начинаются байки про привидения, экстрасенсы всякие, вызов духов. Глупости, конечно, но многих впечатляет, и они еще больше глупостей делают. Да и вам это пока тяжело. Но коль скоро мы признаем свою ошибку... то можно. На пару минут. И больше никогда об этом не просите. Дайте им привыкнуть к вашей... вашему отъезду. Жена у вас человек сильный, но именно сильным труднее это дается. Ну, глядите...

Иван Иванович раскрыл ладони, и Мишин увидел, как в телевизоре, жену и дочь. Жена собирала веерными граблями листья с газона, и Мишин понял, что в саду уже осень. А в больницу он попал в конце лета. Значит, вот сколько времени он умирал... Дочь набивала листьями мешок и относила его к забору. Вдруг жена чертыхнулась — грабли слетели с черенка, и в руках у нее осталась алюминиевая палка. Мишин собирался эти грабли подшаманить, но летом было некогда, и он оставил это дело на осень. «Не успел», — горестно подумал Мишин, вглядываясь в лицо жены. Она явно похудела, и глаза у нее были покрасневшие и опухшие. Она плакала и сейчас, глядя на никчемную палку. А сколько Мишин еще не успел!

— Старый дурак, — всхлипывала жена, — ну и чего ты туда поперся раньше времени? И кто теперь будет этот сад тащить на своем горбу? И кому он теперь нужен?

— Мама, не строй трагедии из граблей. Сейчас возьмем отвертку и все прикрутим назад, — сказала дочь. Мишин почувствовал гордость. Он, конечно, как и всякий мужчина, мечтал еще и о сыне, но что-то там по женской линии у жены не заладилось, и родилась единственная дочь. И Мишин учил ее вкручивать лампочки, шурупы, ремонтировать розетки. Сейчас она ловко вкрутила выпавший шуруп, и грабли снова стали граблями. Но жена больше не стала собирать листья, она пошла в ту сторону, где рос виноград, как будто специально, чтобы показать его Мишину. И Мишин увидел. На молодой еще лозе висели огромные гроздья, пронизанные насквозь осенним солнцем, слегка обведенные по краям осами. Лоза гнулась под этим грузом, часть листьев уже пожухла и облетела, и гроздья были теперь один на один с еще теплым осенним солнцем.

— Вот видишь, — сказала жена, — ты растил, а мне убирать. Разве это правильно?

И почему-то посмотрела вверх, хотя Мишин видел ее с обычной позиции, словно стоял рядом. Но и в то же время страшно далеко, хотя все видел абсолютно четко — и отросшую прическу, и горькую складку возле рта, и старый замызганный свитер, который она надевала для грязной работы в саду, и пачку сигарет, почти выпадающую из кармана брюк. Ему хотелось погладить ее по волосам, но он опасался, что испугает ее. «Бедная моя», — подумал Мишин. Он никогда не думал так о жене, потому что она никогда не была бедной, потому что умела быстро и ловко разрешать проблемы, но эту проблему она, видимо, никак не могла разрешить, и потому была бедная. Подошла дочь, обняла мать, а Мишин протянул руки, чтобы обнять их обеих, но тут Иван Иванович быстро захлопнул ладони, и все исчезло.

— Они справятся, — сказал он Мишину. — Они будут долго скучать, но справятся. Вы им просто должны помочь.

— Но как? — спросил Мишин, глотая слезы. Ему нестерпимо хотелось в сад, хотелось посидеть на крыльце, покурить, пообщаться с женой парой не значащих ничего фраз, а потом срезать гроздь и почувствовать ее солнечную тяжесть. И чтобы это было и завтра, и послезавтра, и всегда... пока смерть не разлучит их.

— Просто пусть каждый занимается своим делом. Вы здесь, они там. Вы больше не голодны?

— Спасибо, я ничего не хочу, — ответил Мишин. Он оглянулся на женщину с ребенком и пожилую даму. Мальчик сосал чупа-чупс и пил колу, болтая ногами, а молодая женщина сидела со стаканом минералки, глядя в стену. Пожилая дама что-то говорила, но ее никто не слушал.

— Что будет с его отцом? — спросил Мишин.

— Ничего. Он будет теперь с этим жить. Он выбрал, образно говоря, свой ад. Это к вопросу о всяческих чертях и сковородках.

Мишин поежился. Нет уж, пускай лучше так, как у него.

— Так мы пойдем? — спросил Иван Иванович. — Я хочу показать вам наш сад. Точнее, виноградник. Да-да, не удивляйтесь. Вы думаете, мы здесь бездельничаем? Здесь все трудятся. Ничего не возникает ниоткуда. Но каждый выбирает себе занятие сам. Я вам просто покажу, а вы уже решите, надо это вам или нет. Или вы предпочтете заниматься, например, умственным трудом? Тяжелый труд, должен вам сказать. Вы же наверняка задумывались над смыслом вашей жизни?

— Думал, — признался Мишин. — Но так и не понял, в чем смысл. Если все равно мы умираем.

— Ну, теперь вы знаете, что это не совсем так. И вы можете продолжить свои искания. Вдруг вам повезет найти ответ?

— А у вас разве его нет? — спросил Мишин.

— Нет. Потому что сколько жизней, столько и смыслов. Каждый определяет его сам.

И они пошли. Через огромный зеленый газон, через розарий, состоявший из старых штамбовых роз с толстыми кручеными стволами и пышными кронами, а потом Мишин увидел виноградник. Коричневые шершавые лозы уходили куда-то в невообразимую высоту, а сверху свисали гигантские гроздья, которые сверкали, как звезды, но были странным образом наполнены солнечным светом. Мишин увидел, как на его глазах старый ствол выбросил молодую ветку, и она устремилась ввысь, на ходу покрываясь молодыми пятипалыми листьями... И все вокруг двигалось, шелестело, звенело, и какие-то невидимые птицы добавляли в этот шум свои переливчатые голоса, и кто-то шел издалека, еще смутно видимый, но Мишин уже понимал, кто это. Их было много, и Мишин почувствовал, что страх одиночества и оставленности покидает его. Он оглянулся. Иван Ивановича рядом не было, только небольшое облако таяло над горячей землей.

Мишин вздохнул и помахал ему рукой. Надо было работать.

